

Теперь, с заходом солнца, зима выходит на пробные прогулки. Она прогоняет с улиц припозднившихся, легко одетых прохожих, холодным ветром срывает с деревьев оставшиеся парчовые наряды, подмораживает несобранные плоды и к утру посыпает серебристым инеем яркие осенние цветы. Но в этом году осень прощается долго. Стоит лишь солнцу приподнять свою мудрую, ясную голову над смятыми подушками облаков, как от уставшей от летних трудов земли начинает подниматься аромат опавших листьев, поздних яблок и несбывшихся весенних надежд. Так пахнут последние теплые дни осени, как оказалось, очень важной в моей жизни.

Старый плющ, оплетающий беседку, уже просушил на ранних солнечных лучах свою еще зеленую, но уже заметно пордевшую шевелюру. Сквозь нее я теперь могу видеть часть сада, наш скромный деревянный дом и запущенный участок соседей.

— Что, за все лето так никто и не появился? — спрашиваю я у деда.

— Нет, — отвечает он, крупно, по-мужски, нарезая хлеб и колбасу. — Весной продали кому-то, и все, а новые хозяева так и не появились. Хотя на днях приходили сторож садоводства со своей женой и что-то копошились там внутри. Но больше я никого не видел.

— Давай я помогу, — приподнимаюсь я со скамьи.

— Сиди, сиди, — останавливает меня дед. — В первый день ты гость, а вот завтра я тебе долго разлежаться не дам, работы полно.

— Это хорошо, — отвечаю я и после короткой паузы спрашиваю: — Дед, я поживу у тебя?

— Живи, места не жалко, — отвечает он и исподволь, внимательно смотрит на меня.

Дед у меня умничка. Никогда не лезет под кожу с назойливыми расспросами, не давит нравоучениями. Он накидывает мне на плечи свою старую, выдавшую виды армейскую куртку, отогревает душистым смородиновым чаем и ждет, когда я все расскажу ему сама.

— Коленки не мерзнут? — спрашивает дед, глядя на мои рваные новомодные джинсы, и прячет улыбку в седые усы.

— Нет, не мерзнут, — отвечаю я, тоже лишь уголки губ улыбаясь в ответ.

— Ты все же укройся хорошо. Осеннее тепло обманчиво.

Я не спорю. Послушно сворачиваюсь в клубочек внутри необъятной дедовой куртки, от которой, как и много лет назад, в детстве, пахнет крепким табаком, одеколоном «Саша» и еще чем-то особенным, родным, чем пахнет только мой дед.

— Как прошла выставка? — спрашивает дед, затягиваясь папиросой.

— Нормально.

— Будет тебе скромничать! Я ведь читал, — говорит дед, протягивая мне газету. — Хвалят тебя, говорят, что ты очень талантливый и перспективный художник.

Я бросаю беглый взгляд на статью и брезгливо отталкиваю от себя газету.

— Ну, что за капризы? — удивляется дед. — Отзы-вы-то хорошие.

— Да... хорошие... вот только обычно громче всех в ладоши хлопают Иуды.

— Дашка, победители должны быть великодушны, — говорит дед, подливая мне горячего чая.

— Не скучно тебе здесь одному? — спрашиваю я.

— В своем доме да на земле всегда есть чем заняться, — отвечает дед. — И потом, сейчас многие и зимой на дачах живут. Воздух-то какой! Тишина!

Что правда, то правда. Первое время тишина просто оглушает. Лишь позже начинаешь различать легкий шорох травы под лапками полевых мышей, ленивое жужжание полусонных мух, размеренное дыхание старых деревьев... Я вслушиваюсь в забытую в городской суете тишину, смотрю на прощальный вальс последних опадающих листьев и уже совсем готова раствориться в слаженных звуках осеннего оркестра.

Но покой нарушил грузовик, который, отфыркиваясь выхлопными газами, остановился возле пустующей по соседству дачи. Рабочие уже деловито суетились возле грузовика, когда следом подкатила пыльная иномарка.

— Кажется, новые соседи объявились, — сказал дед.

— Вернее, соседки, — поправляю я, указывая глазами на роскошно одетую женщину лет пятидесяти и сухонькую опрятную старушку в старомодном пальто и шляпке.

Старый плющ позволил нам остаться незамеченными.

— Ну вот, мамусик, ты и на месте, — слащаво пропела роскошная дама. — Дом добротный, теплый. Я договорила, и перед твоим приездом его протопили и прибрали внутри. Весной найдем людей и приведем сад в порядок. В общем, все так, как ты хотела.

— Да, да... конечно... спасибо, детка, — ответила старушка, растерянно осматриваясь во дворе и переминаясь с ноги на ногу.

— Молодые люди, — голосом, в котором уже появились металлические нотки, обратилась роскошная дама к рабочим. — Вещи разнесите по комнатам, которые указаны на коробках. И с инструментом будьте аккуратны!

Из грузовика в дом, который гостеприимно открыл новой хозяйке свои двери, потекла нескончаемая вереница всевозможных коробок и коробочек, корзиночек и мешочков, пакетов и ящичков. Почти каждый из них старушка провожала беспокойным взглядом и восклицаниями:

— Осторожней, пожалуйста! Не торопитесь, а то уроните!

Но вещи торопились заполнить собой дом, вероятно, надеясь занять там самые уютные уголки. И вот вскоре вслед за последней связкой книг из грузовика

появилось старое пианино. На осеннем солнце были видны потрескавшийся от времени лак и сколы на углах. Опустившийся на землю, пианино охнуло, словно немощный старик, и ля бемоль второй октавы взмолилось о пощаде. Похожий звук вырвался из груди старушки.

— Мамусик, я предупреждала тебя, что инструмент не выдержит переезда, — раздраженно сказала роскошная дама, закуривая длинную тонкую сигарету. — Зачем он вообще тебе нужен?! Мы ж подарили тебе превосходный электроинструмент. Легкий, места мало занимает, звучание прекрасное! Надела наушники — и играй себе на здоровье сколько хочешь, и не мешаешь никому. Так нет же, тебе обязательно нужно было тащить этот гроб сюда!

— Леночка! Что ж ты говоришь такое! — едва слышно попыталась возразить в ответ старушка. — Ведь он всю жизнь со мной! Это ведь уже как член семьи! И потом, я не могу играть только для себя. Я артистка, мне нужен слушатель! А электрическое пианино заведи себе. Я совершенно его не чувствую! Совсем, понимаешь? Оно... оно какое-то неживое.

— Мамусик, эту рухлядь уже давно невозможно настроить, а как оно будет звучать после переезда, вообще трудно представить. Ладно, завязываем с лирикой. Ты лучше скажи, где шляется твой обожаемый внук? А? — все более раздражаясь, спросила Елена.

Изящными пальчиками, затынутыми в белую кружевную перчатку, она набрала номер в мобильном телефоне и поднесла его к не менее изящному ушку.

— Ну разумеется, телефон отключен! Вот послушай! — предложила Елена. — Мерзавец! — сказала она и, швырнув телефон в сумочку, закурила новую сигарету.

Старушка в ответ лишь охнула и прикрыла ладошкой рот.

— Извини, мамусик, но других слов у меня для него больше нет. Ведь клятвенно обещал приехать и помочь с переездом!

— Детка, что ж ты так сердисься? — воскликнула старушка. — Возможно, у него просто разрядился телефон, и все. Главное, чтоб мальчик был жив и здоров. И... он, кстати, говорил мне, что у него инфлюэнца, — добавила она, но было совершенно очевидно, что оправдание для внука придумано только что.

— Что у него? — переспросил у меня шепотом дед.

— Инфлюэнца, — так же тихо ответила я.

— А это что? — удивленно спросил меня дед.

— Простуда или насморк — я точно не знаю, — ответила я. — Знаешь, дед, пойдём-ка к себе, а то получается, что мы подслушиваем.

Осенние дни коротки. Но мы не зажигаем свет. В наступающих сумерках дом медленно ожива-

ет. Вот скрипнула половица, расправляя вязанный из старых тряпок коврик. Тихонько ворчит остывающий чайник. Печка, словно заботливая квочка, устраивается на тлеющих углях, стараясь как можно больше сохранить внутри себя тепло сгоревших поленьев. Пора спать.

Комната моя на чердаке. Я облюбовала это место сразу, как только дом построили. Произошло это в то время, когда огромный союз государств был разрушен. Дед мой остался с крошечной военной пенсией и без жилья. Надеяться на кого-то и сидеть без дела он не привык и поэтому постепенно вместо ветхого сарайчика, в котором хранились лопаты и лейки, на садовом участке моих родителей вырос дом деда.

Сменив офицерскую форму на всегда чистую и идеально выглаженную рабочую одежду, дед на своем стареньком москвичонке с раннего утра объезжал развалины брошенных деревушек и к вечеру возвращался с полным прицепом. Постепенно из строительного хлама стал вырастать небольшой, но очень ладный домишко. Старые кирпичи, доски и бревнышки, словно в благодарность за возможность новой жизни, выстраивались в ровные и прочные стены. Выброшенная за ненадобностью неожиданно разбогатевшими соседями старая домашняя утварь была заботливо вычищена и отремонтирована дедом. Все эти вещи, обустривая новый дом, постепенно срослись в большую дружную семью и жили размеренно и тихо, согреваемые умело сложенной дедом печью.

Так вот, комната моя на чердаке. Это мое царство-государство, и обустривала я его по своему желанию. Из всевозможного старья, привозимого дедом, я выбирала самые необычные вещицы, назначение которых мне не всегда было сразу понятно. Например, дед объяснил мне, что такое керосиновая лампа и как ею пользоваться. После этого я отказалась от электричества в моей комнатухе. Ведь это так здорово — сидеть вечером при мерцающем огоньке и о чем-нибудь мечтать. Сплю я на огромном деревянном сундуке, застеленном дедовым овчинным тулупом. Со временем возле чердачного окна поселился мольберт. Я могла работать над своими картинами в то время, когда мне этого хотелось. Никто мне не говорил, что пора спать или, наоборот, нужно просыпаться, что нужно навести порядок и расставить все по своим местам. В общем, по мнению моих родителей, безобразие полное. Но дед зорко оберегал мое личное пространство. Он вообще единственный из всех принимал меня такой, какая я была на самом деле, со всеми моими причудами. Он не ломал меня, не переделывал, не стыдился моих странностей. А то, что я немного «чок», как говорили окружающие, стало заметно достаточно рано.

Вот и сейчас дед не спрашивает, зачем после сытного ужина я укладываю в маленькую берестяную

корзинку печенье, для кого я наливаю в глиняную кружку подогретое молоко. Я целую деда в слегка колючую к вечеру щеку, желаю ему спокойной ночи и поднимаюсь к себе. Дед знает, что угощение я несу для своего старинного друга, который, надеюсь, навестит меня сегодня перед сном.

Так случилось, что первым обживать еще не совсем достроенный дом деда стал огромный лохматый серый кот. Появился он неожиданно. Не торопясь обошел все комнаты, обнюхал все углы и совершенно по-хозяйски улегся в любимом кресле деда. Кот был очень старым, вероятно, уже плохо видел, потому как в сумерки наткнулся на разные предметы и издавал звуки, похожие на ворчание. Мы так и прозвали его Ворчуном.

Ворчун перезимовал с дедом зиму, почти не выходил из дома, любил пить теплое молоко и дремать в своем кресле. Весной, когда на пригреве уже появились первые подснежники, Ворчун вышел в сад, улегся под самым большим деревом, положил свою мохнатую голову на передние лапы и умер.

Дед горевал молча. Осиротевший, он без дела слонялся по дому, словно Ворчун, наткнулся на мебель, бестолково переставлял чашки на столе. Дом опустел, но на мое предложение завести другого кота дед ответил категорическим отказом.

— Нет, Дашка, не хочу... привыкаешь к ним, а потом видишь оно как. Не хочу больше, — повторил дед, стряхивая ладонью несуществующие крошки со скатерти.

Лето было уже в самом разгаре, когда я вновь приехала к деду. Шумные ватаги местной детворы меня никогда не привлекали. Мне всегда думалось, что в лесу или возле озера нельзя кричать и бегать. Мне казалось странным, что люди не понимают, что деревьям не нравится, когда им ломают ветки и стучат по стволу палками. Когда я пыталась объяснять другим детям, что в озеро нужно входить осторожно, потому что озеро — это чей-то дом и попросту, без надобности, воду баламутить не стоит, то на меня смотрели как на ненормальную.

Случайно услышав, как я спрашиваю у обитателей озера разрешения искупаться, а затем прошу у них прощения за причиненное беспокойство или, обнимая толстые, обтянутые морщинистой корой деревья, рассказываю им свои сны, кто-то в открытую стал надо мной посмеиваться, но многие просто начали сторониться. Я не обращала на это особого внимания. Мир вокруг был яркий, разнообразный и, самое главное, живой.

Живым для меня было не только то, что росло, чирикало, прыгало с ветки на ветку и виляло хвостом. Живым был ветер, который мог ласково трепать мои локоны или, как заправский хулиган, резким порыв-

вом задрать мне юбку. Живым был дождь, который щедро дарил свою живящую влагу раскаленной летним солнцем земле или мелкими моросящими каплями нудно жаловался на плохое настроение. Если дождевое облако целовало солнце в румяную щеку, то в небе расцветала радуга. Зимой дождевые капли превращались в снежинки, которые, медленно покрывая собой землю, делали обыкновенный лес сказочным. А когда снег ссорился с ветром, то снежинки, до этого ажурные и нежные, перерождались в миллионы маленьких острых льдинок, которые безжалостно хлестали людей по лицу. Я была частью этого мира. Мне в нем было хорошо в любое время года и в любую погоду.

В тот памятный для меня вечер я вернулась домой поздно, уже в густых сумерках. Я долго купалась в озере, вода которого была теплой и ласковой, словно руки матери. Было приятно лежать на воде и наблюдать, как солнце не торопясь укладывается на покой. Перед сном оно еще раз посмотрелось в озерное зеркало и уснуло. Солнечная дорожка, которая до этого тянулась по глади озера, исчезла, и я поняла, что и мне пора спать.

Дед не ругал меня за поздние возвращения. Озеро было совсем рядом с домом, и он видел меня из окна. Свой ужин, клубнику с деревенской сметаной, я унесла к себе на чердак, но так к нему и не притронулась. Лишь только я прилегла на сундук, как по телу моему расплылась приятная усталость, веки отяжелели и глаза закрылись сами собой. Я уже почти заснула, когда услышала шорох за печной трубой и знакомое ворчание.

— Ворчун? — удивленно спросила я, продираясь сквозь навалившуюся дремоту.

— Ворчун, Ворчун, а кто же еще, по-твоему, — ответил мне хрипловатый недовольный голос.

Остатки сна слетели с меня моментально, и я, натянув одеяло до подбородка, испуганно вжалась в стену. В двух метрах от меня, на столе, раскачивая ножками, сидел маленький мохнатый человечек. Он с недовольным видом обнюхал тарелку, ловкими то ли лапками, то ли ручками выкинул из нее клубнику и принялся за сметану.

— Ворчун, но... но ведь ты же... — проговорила я, с трудом подбирая слова.

— Умер, умер, — сговорчиво ответил человечек, покочив со сметаной, и, облизывая свои лапки, совсем по-кошачьи принялся умывать серенькую лохматенькую мордашку. — Эх, такую сметану ягодой испортили, — ворчал он. — Ну, чего испугалась, дуреха? Эка невидаль — сменил износившуюся старую шубу на другую, и всего делов... Спи давай, — сказал мне Ворчун, ловко спрыгивая со стола. — Завтра молочка мне тепленького приготовь. Очень я его уважаю.

Утром я обнаружила миску с клубникой и сметаной нетронутой. Мне было жаль, что все оказалось лишь сном. Ворчун в своем новом облике мне очень понравился. Сама не знаю почему, но вечером я все же оставила на столе кружку с подогретым молоком. Я долго ждала, что вчерашний гость появится вновь, и когда услышала за печной трубой шорох, улыбнулась в темноту и наконец-то уснула.

Впервые в то лето на моих рисунках стали появляться деревья. Они были такими, какими их видела я. Мне всегда казалось, что каждая ветка — это член большой семьи, берущий свое начало и свои силы для жизни из одного корня. Большие толстые ветви напоминали крепких, умудренных опытом стариков, а тоненькие свежие веточки, украшенные маленькими болтливыми листочками, были похожи на шумную стайку подростков. Если внимательно вглядываться в причудливые извилишки, украшающие кору дерева, то можно разглядеть лики предыдущих поколений, когда-то также беззаботно трепетавших на молодых побегах под ярким солнцем. Но неумолимый ход жизни перекрашивал новое поколение в осенние цвета и возвращал обратно к истокам, укрывая от зимней стужи корни старого дерева отжившими свое опавшими листьями.

Родители, бегло просмотрев рисунки и выслушав рассказы соседок о моих чудачествах, решили срочно забрать меня в город, пока невинные странности не переросли в болезнь. Надо отдать должное городу. Он довольно быстро пережевал меня в однородную массу, запихал в привычную для всех одежду и постепенно повседневными делами вытеснил из моей головы все то, что уж слишком отличало меня от сверстников. Рисовать я не перестала, но в картинах моих отражался тот мир, который теперь окружал меня.

Дед приезжал к нам в гости, но надолго не задерживался. Он распаковывал свои деревенские гостинцы, молча выслушивал жалующихся друг на друга и вообще на всю эту жизнь родителей. Так же молча просматривал мои новые работы и первые хвалебные отклики на них в прессе. Он подолгу внимательно смотрел на меня, и мне от этого взгляда становилось как-то неловко. В юности яркими голубыми, а теперь почти выцветшими глазами он спрашивал: «Как ты живешь, Дашка? Хорошо ли тебе?» Но я отворачивалась, не зная, как посмотреть в ответ.

И вот спустя много лет я вновь поднимаюсь на свой чердак, ставлю молоко на стол и робко обхожу когда-то оставленные мной владения. Здесь все как и прежде, и именно поэтому особенно остро ощущаю, насколько сильно изменилась я сама.

— Ну, чего мнешься-то, как неродная? — слышу я за спиной знакомый хрипловатый голос.

Обернувшись, в полумраке я разглядела серый мохнатый комочек, который смотрел на меня черными блестящими глазками из глубины старого плетеного кресла.

— Ворчун! — радостно вырвалось у меня из груди.

— Ждем, ждем, — сказал он, спрыгивая с кресла, и, направляясь к столу за молоком, добавил: — Давненько ждем. Ох, свежее... тепленькое... — сладко пропел Ворчун, обнюхивая кружку. — Ну, чего застыла? Скидайвай свои городские дерюжки. Все твои вещи в целости и сохранности, в сундуке лежат, — сказал он мне.

— Правда? — спросила я, удивляясь тому, что мой прежний мир все еще существует и рад нашей встрече. Действительно, в сундуке, рядом со сложенным мольбертом и красками, лежала стопка моих старых вещей. — Они, наверное, мне малы теперь, — сказала я, разворачивая пестрые ситцевые халатики и сарафанчики.

— Нет, еще впору, — ответил мне Ворчун, — Так что носи пока, а потом прикупим что-нибудь подходящее.

— Ты о чем? — растерянно спрашиваю я.

— Сама знаешь о чем, — хмыкнул в ответ Ворчун. — Давай спать ложись и завтра мне из гостей сухариков принеси... ванильных.

— Из каких гостей?

— Из каких, из каких? Из завтрашних гостей... все, спи.

Дед не обманул. Стук молотка разбудил меня рано утром. На кухне под стареньким льняным полотенцем меня терпеливо дожидался завтрак. Но есть в одиночестве не хотелось, и я отправилась на поиски деда, которого довольно быстро обнаружила возле соседской ограды. Дед с очень серьезным видом прикреплал к воротам небольшую деревянную табличку, на которой среди забавных завитушек и сердечек красовалась надпись «Здесь живет Ларочка». За этим занятием с благоговейным трепетом в глазах наблюдала наша новая соседка.

— Доброе утро, — сказала я.

— Доброе, — ответил мне дед, не отвлекаясь от дела.

— Ох! — охнула старушка, которую, по-видимому, и звали Ларочкой. Сложив ладони на груди, она перевела свой благоговейный взгляд на меня. — Вы, вероятно, Дашенька? Доброе, доброе утро! Дашенька, ваш дедушка просто уникальный человек! Он все умеет! Все! Это потрясающе!

— Есть такое дело, — отвечаю я, невольно улыбаясь. — Дед и вправду на все руки мастер.

— Будет вам, — смущенно буркнул дед. — Вбил два гвоздя, а разговоров на большую стройку.

— Борис Александрович, осмелюсь возразить! Людей, умеющих что-то делать своими руками, к сожа-

лению, становится все меньше и меньше. И вот вы один из них! Для меня это большая удача! Дашенька, — сказала она, уже обращаясь ко мне, — я музыкант, я живу в своем мире и совершенно беспомощна в быту, понимаете?

— Понимаю, — тихо ответила я.

Дед покровительственно посмотрел на нас обеих и, хмыкнув себе под нос, принялся складывать в ящик инструменты, которыми работал.

— А теперь идемте ко мне пить чай! — воскликнула Ларочка и, не дав деду возможность возразить, добавила: — Непременно, непременно идемте! Хозяйка я никудышная, но хороший чай всегда найдется в моем доме! Проходите, — сказала она, отворяя перед нами калитку.

Я никогда прежде не была в соседском доме и не знаю, каким он был раньше. Но теперь с первого взгляда стало ясно, что главным здесь было пианино. Инструмент совершенно как хозяин занял большую часть крохотной гостиной комнаты и величественно окружил себя бесконечными стопками нотных тетрадей. Многочисленные связки книг с достоинством расположились в партере, а коробки и корзинки с домашней утварью бестолково и кучно освоили полочки, антресоли и прочие места на галерке.

Думаю, что Ларочка поскромничала, говоря о себе как о плохой хозяйке. Пока мы с дедом оглядывались на новом месте, на столе появилась свежая скатерть, три чайные пары и симпатичные салфетки в тон. Середину стола, к великому моему изумлению, занимала чернобровая румяная тряпичная кукла, укрывшая подолом своего платья большой фарфоровый чайник.

— Садитесь, садитесь за стол, — пригласила нас Ларочка. — Вы знаете, я очень волновалась, переезжая сюда, — говорила она, разливая чай. — Новое место, новые люди... а тут так все замечательно сложилось! Угощайтесь, — сказала Ларочка и поставила перед нами корзинку с сухариками.

Я взяла один и сразу почувствовала тонкий сладковатый запах ванили. «Ну Ворчун! В гости меня отправил... за сухариками... хитрец!» — подумала я, улыбнувшись.

— Вы так хорошо улыбаетесь, — сказала мне Ларочка. — Борис Александрович рассказал мне, что вы художник. Это верно?

Я пожалала плечами.

— Да какой я художник? — спросила я в первую очередь саму себя. — Я им и стать-то не успела. Меня выдернули из большого сада, воткнули в крошечный горшок и увезли в серый бездушный город. В горшке художники не растут. Они там выживают... в лучшем случае.

— Не грустите, — сказала Ларочка, коснувшись моего плеча. — Пейте, пейте чай, а я для вас что-нибудь исполню.

Нотные тетради деловито зашелестели страницами, в партере стопки книг сосредоточились и подтянули шпагатную перевязь на своих боках, а домашняя утварь, скидывая с себя старые газеты, которыми была переложена для переезда, толкаясь и суетясь, устремилась как можно ближе к инструменту, чтобы оказаться в первых рядах галерки.

Ларочка, прислушиваясь к себе, закрыла глаза и через мгновение уверенными, отточенными движениями рук взяла первые аккорды. Ее сухие, покрытые тонкой сеточкой морщин пальцы пробежались по клавишам и замерли, оборвав недоигранную фразу. Инструмент не смог послушно замолчать. Внутри него продолжали дребезжать остатки разрозненных, ссорящихся между собой звуков. Нотные тетради вмиг превратились в груды старой пожелтевшей бумаги, связки книг деликатно отодвинулись к стене, а галерка, шумно обсуждая неожиданный конфуз, принялась суетливо натягивать обратно на себя мятые газеты. Ларочка опустила крышку инструмента на клавиши и с горечью произнесла:

— Простите, к сожалению, сегодня ничего не получится.

Через несколько дней дед привез из города настройщика, который долго и добросовестно пытался реанимировать пианино, но в итоге лишь развел руками.

— Увы! Я не в силах вам помочь, — сказал он. — Ремонт обойдется дороже, чем покупка нового ин-

струмента, так что не советую вам тратить на это деньги.

Пианистка, и без того маленькая и хрупкая, вся съезжилась и, обреченно опустив плечи, села на стул возле инструмента, словно возле постели ближайшего, безнадежно больного родственника.

— Меня предупреждали, что не стоит везти его в такую даль, — грустно произнесла Лара. — Нужно было оставить его в нашей городской квартире. Там хотя бы изредка, но он мог бы звучать. А теперь... — с болью выдохнула Ларочка, — ...теперь ничего уже не исправишь, и ведь все я, я виновата! Знаете, — сказала она, обращаясь к нам с дедом, — моя дочь Леночка считает, что я жуткая барахольщица и совершенно не умею расставаться со старыми вещами! Она, безусловно, права, и головой своей я все понимаю, а поделаться ничего с этим не могу! Ну как, скажите, ну как я могла бросить его одного там, в городе?! И он, и я — мы ведь всем там только мешали... — Ларочка отчаянно всплеснула руками и нервно заходила по комнате. — Я занимаю слишком много места, я слишком часто и громко играю, я много разговариваю! Да, я разговариваю со своим инструментом! Да! И не только с ним, представьте себе! Я разговариваю со всеми своими вещами! Мне просто не с кем больше разговаривать! — воскликнула Ларочка, а затем, уже немного тише, добавила: — Меня там никто не хочет слышать, никто... Они друг друга-то давно уже не слышат, а меня и подавно... А с ним... с ним мы не просто рядом прожили эту жизнь... — Лара задумчиво погладила потрескавшийся лак на старом пианино, — мы с ним ее всю почувствовали...

Продолжение следует.
г. Франкфурт-на-Майне